

Каринэ Арутюнова

КАНУН
ПОСЛЕДНЕЙ
СУББОТЫ

Москва
Издательство АСТ

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос = Рус)6
А86

Дизайн обложки: *Юлия Межова*

В оформлении обложки
использованы рисунки автора

В авторской редакции

Сохранена авторская пунктуация

ISBN 978-5-17-150645-2

© Каринэ Арутюнова, текст, ил., 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022

СОТВОРЕНИЕ МИРА

(о прозе Каринэ Арутюновой)

Музыка — это запечатленное течение времени. Оттого даже в самой жизнерадостной музыке скрыта большая печаль, оттого так хорошо под музыку плачется слабонервным натурам.

Замечу, что люди с железными нервами меня не интересуют. Меня интересуют те, которые, слушая прекрасную вдохновенную музыку, чувствуют, что она может оборваться, как серенькая ниточка времени, протянутая сквозь эту музыку, обернутая ею и преображенная.

Еще больше меня интересуют композиторы. Точнее, я их люблю. Среди милых моему сердцу слабонервных натур они самые уязвимые и самые спасенные.

Каринэ Арутюнова пишет музыку словами и на протяжении всей своей прозы не берет ни одной фальшивой ноты. Абсолютный слух выражается еще и в том, с какой безукоризненной точностью в произведение вплетаются мелодии и голоса любимых К. А. авторов, местечковая речь или мощные пассажи в ветхозаветном духе, когда возникает еврейская тема.

Абсолютный слух не обязательная принадлежность композитора, но почему бы не упомянуть об этом, если он есть? Не могу молчать.

У К. А. есть и все остальное: мысль, воображение, мелодика, музыкальная память, техника... Талант, в конце концов.

Искусство символично по определению. Оно не есть фотографическое воплощение эфемерного переживания семилетнего ребенка или внятного предметного мира сегодняшнего дня, навеявшего это переживание, оно есть нечто третье: постижение того, что непостижимо, путем письма и установление истины.

Непостижимое (бесконечное) требует безотрывного внимания фразы ко всему, что проносится перед взглядом пишущего. Занятие безнадежное для того, кто не владеет искусством монтажа. Но не о безнадежных речь. Речь о К. А., которая — владеет.

Отличительная особенность прозы К. А. — протяженная, «нескончаемая» фраза, иногда длиной в страницу, и это родственно какой-нибудь музыкальной части симфонии, которая не может прерваться, пока не сыграна целиком. Но дело не только в этом благородном родстве, с указания на которое я, собственно, начал свою запись.

Дело в том, что это не литературный прием, но естество и сущность пишущего, умеющего вместить в одну фразу — вы убедитесь в этом, едва начнете читать К. А.! — повесть, а то и роман.

*Владимир Гандельсман,
поэт, переводчик*

СВЕТ ЯНТАРНОЙ ЛАМПЫ

Вот он, золотой свиток времен, материализовался из воздушных масс, утомленных перемещением в пространстве.

Люблю это время, в котором не принадлежишь ничему и никому, — всякий король в этом долгом и теплом дне, который неизбежно клонится к финалу.

Люблю этот час, немного размытый, неопределенный, немного сонный, необязательный. Можно застыть с бокалом вина, можно не торопиться, потому что все вершится без особого моего участия, мир исправно поставляет новости, события и реакции на них.

Спящая собака у моих ног, ее вытянутая по диагонали морда сообщает о крайней степени блаженства и неспешности.

Хорошо знать, что время принадлежит тебе. Очерченный солнцем квадрат на полу, в нем мерцают золотые пылинки. Пусть ненадолго, но ты званый гость в этом доме. Все кажется вторичным — подхваченная и размноженная музыкальная фраза теряет смысл и вчерашнее обаяние. Развлечением стала тишина, происходящая в ней медленная жизнь, случайные реплики случайных событий. Думать о возможной дороге, не выходя из контекста.

То тут, то там звонит колокол. Хорошо знать, что там, за горизонтом, что-то непременно продолжится, но лучше туда не спешить.

У меня есть время, — сообщаем кому-то так, без особой нужды, пугаясь внезапности смысла, ускользающего в потоке обыденного.

КАК РАНЬШЕ

Успокаивает то, как раньше. Как раньше, не смотря на смог и пыль, вдруг откуда-то шлейф августовский горьковатый, и некто в шлепках и майке, насвистывая, рассекает по двору с прижатым к животу арбузом, и где-то, совсем близко, как раньше, вспыхивает светлячок — ах нет, это зажженная сигарета, но вспышка из густоты сумерек точно утешение.

Или, как раньше, букочки «Аптека» — не то чтобы светятся, но подают признаки жизни, и там, за толстым стеклом и перегородками, живет старый провизор Гольдберг — а вы и поверили! — нет, там тетенька с буклями седыми, которая и родилась с этими буклями прямо в аптечном окошке, я ее с детства помню... хотя нет, постойте, вот этого уже точно быть не может, видимо, все-таки это ее дочь, или племянница, или просто двойник, копия, клон. Хозяйка такого небольшого государства, в котором пастилки от кашля и укропная водичка для младенцев по-прежнему в цене — как раньше; грохочет трамвай, ничего ему не делается, те же рельсы и те же провода, и пассажиры глядят в

мутные окна, провожая взглядом неказистую архитектуру окраин.

Серое так и осталось серым — пыль, дома, разбитые ступени.

Подземный переход, как раньше, гнетет скудным освещением; как раньше, одна лампочка либо выбита, либо украдена, — но вот чудеса, я больше не боюсь (как раньше) темноты, я больше не семеню, затаив дыхание, не ускоряю шаг, иду ровно, нарочито уверенно (не так, как раньше).

Когда поезд проезжает станцию «Днепр», ты видишь все ту же статую и реку, и сидящие напротив летние люди как будто просыпаются, и нет человека, который не посмотрел бы вдаль, сузив зрачки от внезапного света.

Как раньше, волнуют человеческие лица и голоса, радуется тяжелая припорошенная пылью кисть винограда (почти как «изабелла»); как раньше, есть ожидание чего-то непременно особенного и важного, что должно произойти, — письма, напоминания, встречи. Как раньше, нараспашку окно, и не хочется думать о том, что еще немного, и все изменится, — впрочем, как и раньше, наступят долгие ранние сумерки, лишённые бесхитростного тепла.

Как раньше, живешь сегодняшним, откладывая покупку зимних ботинок на потом. Потом будет потом, и оно никогда не будет таким, как раньше.

* * *

Это было в какой-то другой жизни. Торшер казался диковинным пришельцем, книги таили секреты неизведанных миров. Уютный вечер, топот босых ног, хруст свежавывающего снежка (помните закрытый пуховым одеялом двор?), тени на стене и

наивные истории с картинками на белой простыне голосом папы или мамы или даже старшего брата. Счастливое время диафильма. Пыльная коробка с пленками — целое богатство! Огромный непостижимый мир, подвластный колесу проектора. Главное, дождаться темноты, задернуть шторы, расставить стулья.

Многое стирается из памяти, распадается на фрагменты (точно стеклышки в калейдоскопе), стена становится просто стеной, торшер — торшером. Тикающие ходики остались в другой жизни. Никто не всматривается в белую простыню, никому и в голову не придет повесить ее на стену, достать с антресолей заветную коробку с историями и выключить свет.

СОЗЕРЦАТЕЛЬ ПТИЧЬЕЙ ЖИЗНИ

На моем карнизе (за окном) какая-то голубиная вакханалия. Что-то происходит. Явно космического масштаба. Карниз сотрясается от ударов птичьих лап, воздух раздираем голубиными стонами и (как бы назвать этот странный множественный звук?) бурным и частым взмахом крыльев, клетотом и таким... горловым квохтаньем и курлыканием.

Звук, вступая во взаимодействие со степным августовским ветром (ничего, кроме сухого ковыля, сушеного кизяка, и нет-нет да и пахнет стоячими водами, их тяжелой недвижимой массой, и потом вдруг раз — далекими странами, голубыми озерами, кувшинками и ласточкиными гнездами), — так вот, звук, вступая во взаимодействие с воздушными массами, создает странный эффект — моего

случайного присутствия в бурной жизнедеятельности обитателей этого кусочка земли.

Август — удивительное время. Похоже, они выют гнезда. Или подыскивают место для таковых.

Я тихий созерцатель птичьей жизни. Не хочется нелепым движением разрушить выверенность (на первый взгляд) хаотических действий. Вот спокойный стон — в просвете рафаэлевский профиль кроткой голубки, и вновь — мощный взмах развернутых крыльев. Сложенные, они скрывают реактивную мощь взмывающей ракеты. Потоки воздуха несут ее к ближайшему дереву, и там, похоже, разворачивается основное поле действий. В семейное собрание вплетаются сторонние голоса — каких-то тропических случайных птиц, неведомых тварей, болотных ужей, дятлов и полевых мышей.

Мое присутствие столь бесполезно и малозначимо в этой картине мира. Влияет ли оно на популяцию птиц? На мерцание далеких звезд? На зарождение новых галактик? На устройство птичьих гнезд? На разрастание старого дерева у моего окна? На созревание каштановых плодов, на их недолгий маслянистый блеск, на ажурную вязь листьев, на небеса, просвечивающие сквозь ржавые прорехи?

Венец творения? Не смешите меня. С какой скоростью (и изяществом) эти существа выют свои гнезда. У них нет времени. Вот этот короткий просвет в жарких волнах августа, вот этот взмах и пикирование — по человеческим меркам и есть те самые годы активной жизни (успеть обзавестись потомством, построить кооператив, выкормить птенцов).

Кто из нас соглядатай? Голубка, косящая удивленным глазом, или я, заносщая в условный блокнот свои наблюдения?

В последние дни августа все живое наконец равно самому себе. Невидимый распорядитель отдает приказания, невидимые музыканты разворачивают партитуры. Движения выверены, точны, стремительны. Нет права на ошибку, оплошность.

Дерево у моего окна раскачивается, шелестит, сверкает, оно все еще (как никогда) полно света и заключенной в нем жизни, но счет пошел на дни.

* * *

Эти тучные птицы облюбовали дерево за моим окном. Не знаю, есть ли у них календарные праздники, отмечают ли они Рождество или Новый год. Уже с утра будничная переключка, равномерное и ритмичное бурление голубиной жизни. Дерево, плотно обсиженное птицами, важными, будто депутаты какой-нибудь небесной думы, пустеет в секунду и остается с потерянно торчащими голыми ветвями. Куда столь деловито срываются они всем скопом, что обсуждают, глядя на меня? Возможно, я всего только деталь некоего конструктора, которую принимают они за часть урбанистического пейзажа. Возможно, на их порывистый и поверхностный птичий взгляд, положение мое довольно статично относительно всего прочего движущегося мира. По крайней мере, сейчас. В те несколько минут осмысленного осознания присутствия в существующей системе координат. Не станция метро и не улица такая-то, а широта и долгота поясов, охватывающих тело Земли. Мое положение статично относительно пикирующего голубя и стабильно относительно многих. Хотя, если вдуматься, что может быть надежней воздушных струй и небесных потоков? Желая устойчивости, все живое избегает

ее, стремится к проникновению вглубь и вширь, к развитию скорости и покорению вершин. Как жаль, что я не обладаю особенными познаниями в точных науках! Что я не в силах вывести изящную формулу и закрепить ее, записав как непреложное свидетельство вечного движения и взаимодействия всего и со всем.

Какая восхитительная связанность действий, следствий и причин, мотивов и поводов. Как сладко слышать вопрошающий детский голос, первый из человеческих в этом дне.

* * *

Я вижу сидящего на карнизе голубя, и в этом благая весть. Она в подступающем грозном облаке, во влаге, которой должно разрешиться оно. В ветре, пригибающем деревья, в близости речной воды.

Река пахнет настоящим. Плывет себе и плывет, без всяких видимых причин и усилий. Может, и мы можем так? Часами можно сидеть у реки, отпустив свои мысли по течению.

Птицы летают низко. Воздух напоен будущими грозами, влагой, жаром, щебетом. Подходим к середине лета. К сердцевине его. Точно косточка абрикоса. Плоть вокруг нее смята, упивается собственной сладостью, брызжет соком, источает соблазны. Время подвисает в паутине, течет по проводам, напоминает о себе неслышными толчками, точно сеть кровеносных сосудов, опутывает с ног до головы.

Как будто кто-то наводит театральный бинокль, взятый напрокат у тетеньки в гардеробе. Такой, в уютном сафьяновом футлярчике того же вишневого оттенка, что и тяжелый пыльный занавес.

Картинки прошлого, приближенные бесхитростной оптикой, обретают ясность и завершенность. Наконец-то становится очевидным замысел! Случайная подробность оказывается незабываемой. Масштабное, значительное — меркнет, сворачивается по мере приближения. Тут и там вспыхивают светлячки воспоминаний, душа сама выбирает, чему быть близкой.

Память — это не увешанная планками грудь юбиляра, не пыльный альбом с черно-белыми снимками. Это нежное свечение изнутри. Звук аккордеона из колодца чужого двора. Спотыкающаяся гамма из окна напротив. Уголок тюлевой занавески. Пыльный фикус на подоконнике. Мелодичный перезвон посуды. Топот обиженных ног. Его запрокинутое лицо. Его честные слезы. Ее наивный триумф. Легкость обожания. Дыхания. Походки. Восторг междометий, пожатие сведенных робостью пальцев. От батареи идет ровное, будто от печки, тепло.

Так хорошо засыпать под шорох дождя. Слышен звук сдвигаемой каретки, суховатое покашливание, одинокий голос ребенка, напуганного сном. И чей-то бубнеж за стеной — четверть алоэ, четверть каланхоэ, по капле в чайную ложку молока...

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Прошедшее время. Я его переписываю, если хотите, смещаю акценты, вырезаю кадры и целые серии. Например, школу. Безжалостно кромсаю пленку. Выбрасываю метры, рулоны. Там, на месте этих кадров, черные дыры. Космические пу-

стоты. У меня, у девочки из в целом приличной семьи. Конечно, иллюзию безопасности создавали родители. Дома, среди книг. Зарыться, отсидеться, отогреться (на потом, навсегда) на низком топчане у коротковолнового приемника, за папиной спиной, под клацанье печатной машинки («Эрика», «Мерседес»), или на Подоле, у тети. Весь мир, выстроенный, обжитый исключительно для тебя, — вот он, поток безграничной любви. Что было до того (слезы, потери, страхи) — неважно, ты всего этого не знаешь еще: ни про эвакуацию, ни про соседей, ни про самое страшное, о чем не принято вслух, — тебе на фарфоровом блюде — вся мощь и сила добра, в котором ты расцветаешь и плависься, — на вырост, на потом. Двор с необъятной акацией, кошачья свора (у каждого своя индивидуальность, имя), радио на стене, сдвинутые ставни — вот пробивается полоска света, вот ходики с гирькой, подвешенной руками деда Иосифа, — поворот головы, наклон ее, полузакрытый глаз (след от казачьей нагайки), мерный звук, мерный и мелкий, — такое подвешенное на цепочке время, и вторит ему утробный бас настенных, напротив, часов. Подушка-думочка под щекой, дыхание где-то там, в тазах клубящегося, зарождающегося варенья — вишневого, допустим, с крепкими, мелкими, твердыми, очень сладкими ягодами. Все это для тебя, весь этот волшебный, по кирпичику выстроенный мир — как будто сказочный джинн одним щелчком породил запахи, вкусы, звуки, плотность стен, торжество уюта. Торшер, блюдец, подстаканник, плед, раскрытая книжка, струение голосов, они обтекают тебя, разглаживают, насыщая теплом, защищенностью, — впрок, на все времена, но ты не знаешь